

Вацлав Воровский

И. А. Бунин. «Деревня»



Вацлав Вацлавович Воровский
И. А. Бунин. «Деревня»
Серия «Литературные наброски»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23586712

Аннотация

«Среди вороха беллетристических произведений, вышедших в свет в текущем сезоне, весьма выгодно выделяется повесть И. А. Бунина «Деревня», напечатанная сначала в «Современном мире», а теперь появившаяся отдельным изданием...»

Вацлав Воровский

И. А. Бунин. «Деревня»

Среди вороха беллетристических произведений, вышедших в свет в текущем сезоне, весьма выгодно выделяется повесть И. А. Бунина «Деревня», напечатанная сначала в «Современном мире», а теперь появившаяся отдельным изданием.

Это – в некотором роде «неожиданное» произведение. Кто бы мог подумать, что утонченный поэт, увлекавшийся в последнее время столь далекими от нашей современности экзотическими картинами Индии, черпавший свое вдохновение где угодно, только не из родного навоза, поэт вообще несколько «не от мира сего», по крайней мере, не от болящего мира наших дней, – за что, вероятно, и удостоился академических лавров, – и вдруг чтобы этот поэт написал такую архиреальную, «грубую» на вкус «утонченных» господ, пахнущую перегноем и прелыми лаптями вещь, как «Деревня». Это поистине пассаж совершенно неожиданный.

«Деревня» привлекает прежде всего своей *талантливостью*. Это именно талантливая, то есть действительно внутренне пережитая и искренне написанная талантливым художником повесть. О Буinine вообще, о его творчестве, о значении и роли этого творчества можно быть разного мнения, но едва ли кто-нибудь станет отрицать, что это – даро-

витый художник, обладающий тонким чутьем. Всякому известно также, что в смысле общественных настроений Бунин, хотя внешним образом связан был с «прогрессивной группой» М. Горького, внутренне все же стоял от этой группы особо, одиноко, не подходя к ней ни по своему аполитическому мировоззрению, ни по своим несколько барским вкусам. Тем интереснее посмотреть, какую кажется деревня в наши дни «поэту мирному», чуждому политических интересов, партий, программ, но чуткому, наблюдательному, а главное, искреннему.

Подобно большинству «молодых» литераторов, Бунин перенял кое-какое наследство от отца молодых – А. П. Чехова. Это – то утонченно-упадочное настроение интеллигенции из среднепомещичьего, «культурного» дворянства, обитателей «вишневых садов», которым пропитано творчество Чехова в последний период его работы (особенно его пьесы). Бунин тоже детище «вишневого сада». А это значит, что его психике присущи: и нежная лирика любви к природе, и идеализация уютной, красивой жизни «культурных» дворянских гнезд, и горесть разрушения этого рая, и – что для нас сейчас особенно интересно – разочарование в «нынешнем» мужике, том мужике, который, выйдя из-под отеческой опеки «культурного» барина, опустился, обнищал, озверел.

А. П. Чехов жесткими, беспощадными штрихами рисовал деревню. Он не только не ощущал желания подкрашивать и прихорашивать жизнь «свободного» мужика, как это де-

лали облезлые потомки народников, но не чувствовал даже потребности изучить и понять деревню, постигнуть причины, смысл и тенденции ее современного «упадка». Мужик стал кулаком, – следовательно, мужик утратил симпатии интеллигента. Таков смысл чеховского отношения к деревне. Приблизительно так же смотрит на деревню и Бунин.

«Грязь на дорогах, – размышляет один из героев его повести, Кузьма, – синеватая жирная зелень деревьев, трав, огородов – темная, густая, и на всем – этот синеватый тон чернозема и туч. Но избы глиняные, маленькие, с навозными крышами. – Возле изб – разошедшиеся водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками... Вот богатый двор... Но грязь кругом по колено, на крыльце лежит свинья, и по ней, качаясь и взмахивая крылышками, ходит желтенький цыпленок. Окошечки – крохотные, и в жилой половине избы небось темнота, вечная теснота: полати, ткацкий стан, здоровенная печь, лохань с помоями... А семья большая, детей много, зимой – ягнята, телята... И сырость, угар такой, что зеленый пар стоит. А дети хнычут и орут, получая подзатыльники; невестки ругаются – „чтобы тебя громом расшибло, сука подворотная“, желают друг другу „подавиться куском на велик день“; старушонка-свекровь поминутно швыряет ухваты, миски, кидается на невесток, засучивая темные, жилистые руки, надрывается от визгливой брани, брызжет слюною и проклятиями то на одну, то на другую... Зол, болен и старик, изнурил всех наставлениями и хвостовством. Дерет

за волосы женатых сыновей, и они порою противно, по-му-
жицки, плачут...»

Эта безотрадная обстановка жизни *богатой* крестьянской
семьи (о бедной уж и говорить нечего) является в глазах ав-
тора как бы концентрированным изображением быта всей
деревни. Мрак и грязь – и в физической, и в умственной, и
в нравственной жизни, – вот все, что видит Бунин в совре-
менной деревне.

Вот, например, лежит при смерти старик. Еще он жив, а
уже в сенцах гроб стоит сосновый, уже невестка разваливает
тесто для пирогов. И вдруг старик выздоровел. «Куда было
девать гроб? Чем оправдать траты? Лукьяна лет пять про-
клинали потом за них, сжили попреки со свету, изморили
голодом, стравили вшами и грязью».

А то вот картинка супружеской идиллии: «Закоренелый
мужик. При брате живет, землю, двором сообча владеет с
ним, но только все-таки вроде как заместо дурачка, а жена от
него, конечно, уж сбежала; а отчего сбежала – как раз от это-
го самого: сторговался с Панковым за пятиалтынный, чтобы
пустить его, заместо себя, ночью в клеть – и пустил».

Или еще извольте: «В ночь под рождество, в лютую ме-
тель, мужики из Колодезей удавили в Курасовском лесу ка-
раульщика, с тем чтобы разделить для каких-то колдовских
целей веревку, снятую с мертвого».

А вот из области «политики»:

«– А не знаешь, зачем суд приехал?»

– Депутата судить... Говорят, реку хотел отравить.

– Депутата? Дурак, да разве депутаты этим занимаются?

– А чума их знает...»

Но что особенно поражало Кузьму, так это то, что деревня сама же *не верит* тому, что делает. Вот удавили человека из-за веревки, – «но верили ли они в эту веревку? Ой, слабо! Это нелепое и страшное дело совершено было с беспощадной жестокостью, но без веры, без твердости... Да *у них и ни во что нет веры*». – «Все выродилось...» – прибавляет он грустно.

И не только коренное крестьянское население выступает в повести Бунина детьми «тьмы», но и те, кто, казалось бы, приставлен, чтобы поднимать нравственный и умственный уровень этих детей тьмы, не лучше опекаемых ими. Так, к Кузьме заезжает «духовный пастырь», о. Петр, и первый взгляд этого казенного учителя жизни падает на стол с угощениями: «Самоварчик? Отлично! Вы, я вижу, не чета братцу – не тороваты на угощенье». А когда Кузьма распространяется на тему, что «страх – не вера, и не вашему Богу крещусь я», о. Петр не находит у себя аргументов для возражений и благоразумно отделяется словами: «Ага! Ага! Да это еще что! Вот попался бы ты о. Звереву из Казакова – вот это ум».

Еще печальнее представляется деревенский насадитель просвещения, местный учитель, какой-то отставной унтер: «Бьет не судом, да зато у него и прилажено уж все. Заеха-

ли мы как-то с Тихоном Ильичом – как выскочут все разом да как гаркнут: „Здравия желаем, ва-ша високобла-горо-дия“».

Когда-то, даже в самый разгар народнического подрывания мужичка, были художники-реалисты, не закрывавшие глаза на темные, отрицательные стороны жизни деревни, умевшие и имевшие смелость отмечать элементы тьмы в той самой народной массе, с которой тогда принято было носиться как с писаной торбой. Не говоря уже о Слепцове или Н. Успенском, довольно указать такую крупную силу, как Глеб Успенский, который, при всей своей мучительной любви к народу, все же не скрывал от себя темных сторон его жизни и психики.

Но то был мужик-раб, только что освобожденный крепостной, пришибленный, обесчеловеченный веками рабства. С тех пор прошло много десятилетий. Два поколения сменилось. Нынешний мужик уже родился на воле, рос в новой обстановке, жил «свободным трудом». Казалось бы, он должен был коренным образом измениться. К тому же подошли бурные годы, захватившие крестьянство в общий поток порыва к свободе и возрождению. Неужели же и это могучее движение не оставило следа на «дурновцах», под которыми надо понимать вообще русских крестьян? А вот посмотрим.

Сначала пришла русско-японская война. «Слухи о войне начались, конечно, бахвальством: „Казак желтую-то шкуру скоро спустит, брат“. Однако героическое настроение сме-

нилось очень скоро другим. „Своей земли девать некуда, – строгим хозяйственным тоном говорил Тихон Ильич, кажется *впервые за свою жизнь* рассуждая не о дурновской, а о всей русской земле. – Не война-с, а прямо бессмыслица“. И это недовольство войной, отнимавшей у крестьянина лучшие рабочие силы и тянувшей его трудовые гроши на чуждые ему затеи, быстро перешло в злорадное ликование по поводу побед японцев. „Ух, здорово! – говорили на деревне. – Так их, мать их так!“ И под этим „их“ подразумевалось, конечно, свое же христолюбивое воинство».

Этот первый опыт рассуждения «не о дурновской, а о всей русской земле» явился превосходным введением к последующим событиям. Когда началось открытое революционное движение, деревня с большим интересом следила за ним. Прежде всего поражала «загадочная осведомленность» деревни о всех событиях общегосударственной жизни.

«– Да ты в газетах это, что ли, читал? – спросил однажды Тихон Ильич заику Кобыляя.

– В ггазетах? – удивился Кобыляй. – А ккто их... нам ддавал...»

И правда, никто не давал. Но знали дурновцы прямо-таки «всю подноготную».

«Как дал этому самому министру под жилу, – злорадствовал тот же Тихон Ильич, – как дал – праху от него не осталось». Но если *чисто политические* акты и встречались с каким-то торжеством всей деревней, то настроение ее измени-

лось, так сказать, расщепилось, когда речь коснулась вопросов *социально-экономических*. Особенно жгучим явился, конечно, земельный вопрос, и тут-то сказалась, с одной стороны, рознь между имущим и неимущим крестьянством, с другой стороны – характерная мужицкая двойственность по отношению к своей и к «барской» собственности. Для хозяйственного прогресса России *экономически нужен* переход земли из рук выродившегося в хозяйственном отношении дворянства в руки более приспособленного и более живучего в этом отношении крестьянства. И эта необходимость, естественно, сказывалась в признании права на захват *помещичьей* земли, при строгом охранении неприкосновенности *крестьянского* землевладения.

«Нет, это ты, Ильич, не толкуй, – рассуждает средний дурновский мужик. – По справедливой оценке – это можно, взять-то ее. А так – нет, не хорошо...»

А Тихон Ильич – деревенский кулак – «улыбается и отвечает:

– Толкушка! А если он не хозяин, а бродяга.

– Кто? Барин-то?

– Нет, – задница!

– Ну, это *дело особое*. У такого-то и со всеми потрохами отнять не грех...»

Но зато тот же Тихон Ильич совершенно иначе отнесся к слухам об отчуждении *не барской* земли. «Как только заговорили о земле, стала просыпаться злоба к „социалисту“. „Все

жиды работают! Все жиды-с, да вот еще лохмачи эти – студенты“. И когда доходили слухи, что „будут и меньше пятисот брать“, то есть принудительно отчуждать владения менее пятисот десятин, – „овладевала душою рассеянность, подозрительность, придирчивость“. Другой „собиратель земли“, Яков, когда пошли разговоры о бунтах, поджогах, отчуждении земли, „только молчал – от той подколодной скрытности, затаенности, что всосали с молоком матери тысячи его предков. Да и *дыхание перехватило бы* у него, если бы он заговорил“».

Наэлектризованная деревенская беднота ждала какого-то «распоряжения». С тревогою ждал его и Тихон Ильич. «Эх, взять бы несколько казаков с плетью», – думал он. Но «распоряжение» таки «вышло». В один и тот же день и час взбунтовались мужики чуть ли не по всему уезду. Взбунтовалась и Дурновка. Тихон Ильич узнал, что в Дурновке – сход, вырабатывается план наступления на усадьбу (которою владел он). «С злобно-радостными глазами, с ощущением необычной силы и дерзости, с готовностью „самому черту рога сломать“ поехал Тихон Ильич в свою усадьбу. „Вдруг взгляд его упал на пары возле усадьбы, густо усеянные желтым донником: на парах пасся мужицкий табун“, а помчавшись дальше, во двор, он „оторопел еще более: двор был пуст – хоть шаром покати“. Потом „толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя его, через овраг к усадьбе, наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца и прижала его к две-

ри. В руках у него был только кнут. И он махал им, то отступая, то отчаянно кидаясь в толпу. Но еще шире и смелее махал палкой наступавший шорник – злой, поджарый, с провалившимся животом, востроносый, в сапогах и в лиловой ситцевой рубаше. Он от лица всей толпы... орал, что вышло распоряжение „пошабашить это дело“ – пошабашить в один и тот же день и час по всей губернии: согнать из всех усадеб и экономии посторонних батраков, заступить на их работу местным – по целковому в день! – а хозяев турить в три шеи, куда их глаза глядят“».

Однако этот взрыв по чьему-то «распоряжению», сопровождавшийся невероятной путаницей понятий, так же скоро улегся, как и разразился. Дурновцы опять затихли, и тот же шорник «как ни в чем не бывало» опять стал появляться в лавке Тихона и почтительно снимать шапку на пороге, «точно не замечая, что Тихон Ильич в лице темнеет от злобы при его появлении». И сам Тихон, в первую минуту носившийся с дикими проектами мести, собиравшийся то «сжечь дотла всю Дурновку», то «отравить воду в дурновских прудах», успокоился и опять отдался своей основной «заботе о наживе». Деревня вошла в свою обычную колею.

Это «успокоение» деревни не замедлило отразиться и на всей жизни страны. Городские события, не встречая ответа со стороны деревни, сразу утратили значительную долю своего напряжения, город тоже начал «успокаиваться» – «привыкать к чудовищному», как сказал бы Шиллер.

«Распустили Думу, но это не нарушило однообразия жарких длинных дней. Ждали великого деревенского бунта, но никто и бровью не повел, когда не произошло ровно ничего великого. Устраивались новые сказочно свирепые избиения евреев, изо дня в день шли казни, расстрелы, но город даже интересоваться перестал ими. В уезде, по усадьбам, побаивались, – но что за дело городу до уезда. Казаков прислали еще сотню: их проклинали в один голос, но терпели. Местную газетку закрывали три раза и наконец доконали, продажу столичных запретили».

Один из героев повести, Кузьма самоучка-мещанин, брат Тихона Ильича, болевший душою о всех зверствах совершавшегося на его глазах «победного шествия», с грустью видел, что в беспредельной, тоскливой глуши полей расплывается, теряется, гложет все то, что летит отзвуком туда с арены общественной борьбы.

«В городе, в вагонах, по деревням, по селам – всюду чувствовалось что-то необычное, отзвуки какого-то большого праздника, какой-то большой победы и больших ожиданий. Но уже в слободе понял Кузьма, что чем дальше в эти беспредельные поля, под холодное сумрачное небо, тем все глуше, нелепее и тоскливее становятся эти отзвуки. Вот отъехали – и уже опять стали жалкими крики, игра и топот в толпе у кабака. Там праздник, пытаются „гулять“, а впереди – будни, серые и равнодушные; впереди – опять огороды, лозняки, два ряда курных изб, водовозки с вонючей прудовкой, а

в конце улицы – поля, синева холодной дали, темный лесок на горизонте, низкие тучи».

Безотраднa картина жизни деревни, которую рисует Бунин, безотраднa психика мужика, даже в моменты наивысшего подъема общественной борьбы, безотрадны и перспективы будущего среди этих мертвых полей, перекрытых свинцовыми тучами. Мужик, на котором держится и физическая и финансовая мощь одной из крупнейших европейских держав, оказывается по изображению нашего автора грубым, некультурным дикарем, каким-то полуживотным, живущим одной жизнью и чуть ли не одними интересами с домашним скотом, тупым, жадным, грязным и забитым. Жирная почва русской земли словно цепкими щупальцами захватила мужика, превратила его в какое-то орудие, в придаток, осужденный вечно ковырять ее, бессильный поднять голову и стряхнуть это рабство, эту «власть земли», ставшую «властью тьмы». Пресловутый «идиотизм деревенской жизни», отмеченный более полувека тому назад Марксом, тесно связан с самим укладом деревенской жизни, с деревенским трудом, с тесным кругозором, с изолированностью и замкнутостью интересов и быта деревни. Вырванный из этой отупляющей обстановки, крестьянин превращается в городе в совершенно другой тип, в городского рабочего, способного стать на высоту общечеловеческих задач своего времени. Такова деревня в изображении Бунина.

Однако несмотря на талантливое письмо, несмотря на

несомненное глубокое проникновение в жизнь деревни, на большое знание этой жизни и тонкую наблюдательность автора, несмотря на все это, невольно возникает вопрос: верно ли все-таки изобразил Бунин деревню, полную ли картину ее дал он, не нарисовал ли он односторонний образ ее, который, именно благодаря своей односторонности, приближается к карикатуре?

Пять лет тому назад сонная, застоявшаяся деревня была раскачана революционным шквалом. Она всколыхнулась, хлынула из берегов и раскрыла перед всеми свои сокровенные глубины. Мы все читали знаменитые «резолуции» сельских сходов, следили за выборами в Думу, видали этих крестьянских депутатов, особенно во II Думе, – и все это во все не походило на ту картину тупой ограниченности, дико-го суеверия, скотского эгоизма, которые рисует нам Бунин.

«Новая» деревня не свалилась, как снег на голову, в один день, она начала складываться еще за несколько лет до революции, а в разгар ее она показала себя, так сказать, в натуральную величину. Эта новая деревня нашла себе отзвук и в литературе: из целой кучи беллетристических, публицистических и публицистически-беллетристических описаний ее достаточно указать хотя бы на «Новое крестьянство» Тана или на «Лето» М. Горького. Очевидно, это новое крестьянство *уже существует, уже заявляет о себе*. Очевидно, Бунин дал нам *не всю* «деревню», обрисовал ее не со всех сторон, заглянул *не во все* ее уголки. Но если так, то каким об-

разом могло это произойти и какую ценность имеет то, что изобразил Бунин?

Художник может воспроизвести только то, что в состоянии воспринять его творческая психика, к восприятию чего она подготовлена. Бунин, как я указал выше, принадлежит к типу вырождающейся «барской» интеллигенции. К оценке жизни деревни он, естественно, подходит с некоторым предвзятым (хотя, может быть, и бессознательно предвзятым) критерием. Новая деревня, – то есть, собственно говоря, та переходная форма, деревенского быта, которая существует сейчас, нечто промежуточное между разрушающейся старой крепостнической деревней и складывающейся будущей, буржуазной, – совершенно не прельщает людей с родственной Бунину психикой. Она чужда им, неприятна, антипатична. Они видят в ней *только* упадок и вырождение, не замечая элементов *новой* жизни. Наблюдая разложение старых нравов, падение господствовавшей морали, крушение прежних, установившихся понятий, то есть *отрицательные* явления, они не в состоянии, с своей точки зрения, увидеть и оценить зародыши нового уклада деревенской жизни, новой этики, новой идеологии. Вернее, они замечают это новое, но только у той части деревни, которая в своем развитии приближается к *их*, то есть буржуазному, обществу. Ведь Тихон Ильич тоже *новый* человек: его кулацкий быт, его психику, вообще весь его духовный облик автор рисует с полным пониманием и большой наблюдательностью: ибо этот тип уже

определенно сложился и проявил себя ярко и характерно. Другая же часть деревни, та, на которой строится благополучие Тихонов Ильичей, пока еще находится в стадии брожения и не так легко поддается наблюдению художника, особенно же художника с бунинской психикой.

Не в том дело, что в деревне *нет* новых людей, тех, что писали «резюльюции», шли в Думу, говорили неслыханные до сих пор слова. Они есть, это бесспорно. Но они не попадают в поле зрения нашего автора – и в силу его специфической психики и в силу того, что сами они еще слишком новы и слишком *индивидуальны*. Как цветное стекло пропускает только лучи определенной окраски, так и авторская психика пропускает только соответствующие ей понятия и образы.

Таким образом, приходится признать, что Бунин, давая нам *неполную картину*, а тем самым *одностороннюю* картину жизни деревни, не подмечая того нового, что нарастает в ней нередко в несуразных, уродливых формах, усматривая в разложении старого только упадок, только гниение, дал свидетельство *узости* своей собственной психики, неспособности воспринимать наблюдаемое явление в формах его *движения*, его *развития*. Благодаря укладу его психики он смог воспринять и художественно переработать лишь *часть* процесса, лишь его *первую половину* – именно разложение старого, в то время как зарождение нового, то есть неразрывно связанная *вторая* половина процесса, ускользали из поля его художественного зрения. Но зато в той части, которую он

ограничил свой рассказ, он дал яркую и правдивую картину быта падающей, нищающей деревни, *старой* деревни. Ибо здесь духовно господствует еще старая, хотя уже сдвинутая с места, надорванная деревня.

Именно все то, над чем бьется и тоскует Кузьма: апатия, сменяющая всякий взрыв, примирение с грубой и грязной действительностью, безразличие ко всему, что лежит за пределами родной околицы, – одним словом, все то, что могучую народную силу превращает *в опору* существующего порядка вместо того, чтобы сделать ее *основой* совсем *другого* порядка, – именно это доказывает самым неопровержимым образом, как слаба еще «молодая деревня» по сравнению со старой, какую каплей в море является она пока среди сотни миллионов покорно изнывающих под притупляющей «властью земли». Правда, в иные моменты этой капли довольно, чтобы привести в брожение все это море; но в будни жизни эта капля теряется настолько бесследно, что ее не в силах различить глаз художника-наблюдателя.

«Идиотизм деревенской жизни» объясняет многое и многое. Он дает ключ к пониманию самых ярких неудач пресловутого «бурного года»: об него разбились многие надежды, он свел на нет не один выигрышный момент в борьбе. Поэтому и повесть Бунина, помимо чисто художественного интереса, является важным «человеческим документом», своего рода исследованием о причинах памятных неудач. К этому выводу приходит и герой повести, Кузьма, когда с горем и

отчаянием, вынужден признаться: «Да, да, яриться тут нечего! Все идет, как по-писаному... *По Сеньке и шапка...*»

В самом деле, разве не знаменательна эта картина: «Косо неслась белая крупа, падая на черную, *нищую* деревушку, на ухабистые, *грязные* дороги, на конский навоз, лед и воду; сумеречный туман скрывал бесконечные поля, всю эту великую *пустыню* с ее снегами, лесами, селениями и городами, – *царство голода и смерти...*»